
ВHAGAVADGITA MAN

К счастью или несчастью, но моя память чрезвычайно избирательна. Из поездки в Бенарес (Варанаси) в 1967 г. не сохранилось ничего о том событии, ради которого я приехала в священный для индусов город, — об очередной ежегодной сессии Индийского философского конгресса. Я не помню содержания и даже названия собственного доклада, реакции на него. Тему самого Конгресса удалось воссоздать, лишь заглянув в «Лотос на ладонях» — книгу, опубликованную мной в далеком 1971 г. То была остающаяся по сей день актуальной тема — «Традиция и модернизм».

Я, конечно же, храню воспоминания о самом городе, вернее, о той атмосфере глубокой религиозности, которая характерна для Бенареса более, чем для какого-либо другого города Индии. Но из лиц в памяти лишь одно — Сева Семенцова.

Выступая с докладом, я увидела с трибуны среди массы присутствовавших в аудитории людей две странно отличных от всех остальных головы. Отличались они не только по цвету, но чем-то еще неуловимым: «Не из России ли эти двое белокурых юношей?» Внутреннее чутье не обмануло меня — то были действительно московские студенты: Сева Семенцов и Сергей Серебряный.

Не помню как и почему, но именно с Севой мы подружились и вместе провели оставшиеся два дня моего пребывания в Бенаресе. Он уже прекрасно знал город, поскольку жил в нем не первый месяц, находясь на стажировке в университете. Сева предложил показать Бенарес. Ранним утром, практически на рассвете, мы сели в коляску велорикши и покатали по просыпающемуся городу к *гхатам* — месту сбора паломников, совершавших *пуджу* и омовение в Ганге. Для Севы езда на велорикше была привычной — фактически единственным способом передвижения по городу. Для меня же, хотя я прожила в Индии не один год, то было волнующим событием, поскольку советским гражданам, а тем более сотрудникам Посольства и членам их семей за-

прешалось пользоваться услугами рикш якобы из уважения к человеческому достоинству последних. А то, что тем самым мы лишали рикш их единственного заработка на жизнь, никого не волновало.

Подходы к гхатам с сидящими вдоль прохода прокаженными, протягивающими за милостыней обезображенные проказой руки; сотни стоящих в водах Ганга молящихся индусов; многочисленные лодочки, нагруженные верующими, приносящими богам свои скромные подношения, прежде всего цветы, миллионы лепестков роз, — все это не могло не поразить воображения, навсегда врезаться в память. И все же почему-то самым впечатляющим оказалось иное, возможно потому, что я к нему не была готова. Варанаси поразил, околдовал, воздействуя не столько на зрительное восприятие, сколько на обоняние и слух — невероятно насыщенная гамма ароматов, запахов, особенно от дыма разогреваемых жилищ и утренней пищи, а также многоголосие звенящих, перекликающихся между собой колокольчиков, сопровождавших движение бесчисленных велосипедов, рикш и тянущих нагруженные телеги волов-тружеников. Сева многое объяснял, будучи осведомленным об индуизме значительно больше, чем я.

Здесь, пожалуй, уместно напомнить, что в те времена, когда я получала востоковедное образование, т.е. в 50-е годы, нам, студентам индийского отделения МГИМО, не давали элементарных знаний о религиозных традициях Индии. Мы изучали языки (для меня это был урду и факультатив по хинди), географию, историю, экономику и литературу Индии, исключив при этом религиозную компоненту соответствующего предмета. Пребывание в Индии (1961–1963, 1966–1969) позволило мне заняться самообразованием, внести серьезные исправления и дополнения в полученные ранее индологические знания. Встреча и знакомство с таким человеком, как Сева Семенов, не могла не быть в этом смысле особо значимой. Возможно убедившись в моем искреннем интересе к религиозной культуре Индии, он и подарил мне на память очень хорошую книгу — «Мифы индусов и буддистов» Ананды Кумарасвами и сестры Ниведиты миссии Рамакришны-Вивекананды («Myths of the Hindus and Buddhists»). By Ananda R. Coomaraswamy and the Sister Nivedita (Margaret E. Noble) of Ramakrishna-Vivekananda. N.Y. Dover Publication).

После знакомства в Варанаси мы обменялись раза два письмами, а затем как-то потеряли друг друга из виду. Я вернулась из Индии в Москву в 1969 г., а затем в 1974 г. на шесть лет уехала в Канаду.

Мы встретились вновь случайно, во время одного из посещений мною Института востоковедения. Оба обрадовались, захотелось по-

общаться не на ходу, а в обстановке, располагающей к более обстоятельному разговору. Договорились, что Сева зайдет ко мне домой.

Помню, как он пришел в нашу небольшую квартиру на улице Чайковского. Почему-то запомнилось, что он сразу снял ботинки и в белых шерстяных носках проходил (именно проходил, а не просидел) по комнате около двух часов. Рассказывал, чем занимается, — о переводе и комментировании «Бхагавадгиты», о том, что работа идет медленно и что у него почти нет публикаций. Это, так же как и направленность его научных интересов и поисков, вызывает недовольство, непонимание со стороны начальства.

Именно тогда я ему сказала, что мне кажется, что ему следует перейти на работу к нам, поскольку он занят не филологией и литературоведением, а скорее философией, религиоведением. Я попросила его подумать над предложением о переходе.

Объясню, почему я могла себе позволить сделать подобное предложение. Дело в том, что по возвращении из Канады в 1980 г. в силу ряда обстоятельств, не зависящих от моего собственного выбора, я была призвана заведовать Сектором философии Востока в своем родном Институте философии, «призвана», потому что об этом просили мои коллеги.

После преждевременной смерти основателя и руководителя сектора Сергея Николаевича Григоряна (в 1974 г.) стал явным идейный раскол среди его сотрудников. По существу, одному человеку — китаисту Н.Г. Сенину, придерживавшемуся крайних догматических взглядов, удалось подчинить своему влиянию (вернее, давлению) нескольких ведущих сотрудников старшего поколения, и вместе они постоянно препятствовали научно-исследовательской деятельности. Широко использовались ярлыки «антимарксист», «ревизионист», ставились препятствия на пути защиты диссертаций, публикаций, писались даже доносы. Невыносимая обстановка вынудила некоторых молодых ученых уйти из института. Руководство института задумалось о целесообразности закрытия сектора, в котором сотрудники живут «как пауки в банке» (подобное сравнение позволил в своем выступлении на общепрофессиональном собрании директор Украинцев).

Мне было предложено возглавить сектор, заменив Н.П. Аникеева. Я колебалась несколько месяцев, но потом поняла, что надо соглашаться, ибо иначе не смогу работать ни сама, ни мои коллеги, находящиеся в противостоянии с сенинской группой. Однако я давала согласие лишь при условии роспуска сектора, перереаттестации всех его сотрудников. В итоге с помощью коллег-единомышленников удалось освободиться от блюстителей чистоты марксизма-ленинизма и начать

обновление коллектива действительно творческими силами. Сева Семенцов был первым, кого я постаралась привлечь к нашей работе.

Чтобы познакомить своих коллег со своим «избранником», я пригласила его выступить с докладом на методологическом семинаре. Сева отнесся к предложению серьезно, со всей присущей ему ответственностью. Его доклад был обстоятельным и, видимо, достаточно волнительным для него самого (одна малая деталь — Сева принес с собой термос с чаем, который попивал, нам на удивление, время от времени). Он, конечно, всем понравился, но тем не менее принять его в свои ряды оказалось делом непростым.

В соответствии с советскими порядками для принятия по конкурсу на работу в Институт философии следовало получить поддержку (а вернее, разрешение, добро) парткома. На конкурс по замещению ставки индолога помимо Семенцова подала документы никому не известная тогда Ольга Васильевна Мезенцева, сотрудница Государственной публичной исторической библиотеки. Партком счел ее кандидатуру более достойной. У Семенцова был огромный «недостаток», который я по своей недалновидности не учла, — он не был ни членом КПСС, ни членом ВЛКСМ. Принадлежность к указанным партийным рядам в те времена была обязательным условием для приема на работу в Институт философии (и даже на учебу на философском факультете). Исключение делалось лишь в редких случаях. Я же совершила оплошность: не провела соответствующего, как сегодня принято говорить, лоббирования среди членов парткома.

Сева, однако, усмотрел причину «провала» в более серьезном обстоятельстве, неведомом мне. Наш разговор состоялся на лестничной площадке в Институте востоковедения. Я заверила Севу, что намерена попытаться провести его по конкурсу в следующий раз. И тут он сказал, что считает своим долгом предупредить меня о том, что является человеком верующим. Я ответила, что меня не касаются его сугубо личные убеждения, в это не имеют право вмешиваться и другие. Сева покачал головой: «Пойми, я не просто верующий. Я регулярно хожу в церковь. Я активно участвую в церковных делах. Наконец, я состою на учете в соответствующих органах. Я не хочу, чтобы у тебя были из-за меня неприятности».

Его искренность придала мне еще большую решимость. Я провела соответствующую «работу» со многими членами парткома, и Сева приняли в Институт. Поскольку в это время он еще продолжал работать над переводом и исследованием «Бхагавадгиты», я обещала не занимать его никакими другими делами, с тем чтобы он мог спокойно завершить свой труд. Как известно, книга под названием «Бхагавадги-

та в традиции и в современной научной критике» была опубликована в 1985 г. Сева подарил ее мне, написав: «На добрую память Маре, моему другу и начальнику». Последнее, конечно же, было шуткой, поскольку в наших отношениях никогда не было ничего административного.

Сева проработал с нами около четырех лет. Срок небольшой для академической деятельности, и хотя формально он не оставил каких-либо трудов, которые могли бы быть зачислены по нашему «ведомству», тем не менее можно утверждать, что он сыграл большую роль в преобразовании Сектора Востока в действительно творческий исследовательский коллектив.

В начале 80-х активно развивалось наше сотрудничество с индийскими философами. Академические обмены были регулярными. Импульс к установлению тесных советско-индийских связей в области философии был дан К. Сатчиданандой Мурти — президентом Индийского философского конгресса, во время официального визита которого в качестве руководителя Индийского совета по философским исследованиям (1982 или 1983 г.) было подписано соглашение о сотрудничестве Совета с Институтом философии. К тому времени К.С. Мурти уже был знаком практически со всеми, кто занимался индийской философией в Советском Союзе. С В.С. Семенцовым он, однако, ранее не встречался. По моей просьбе Сева вместе с О.В. Мезенцевой опекали Мурти и его коллегу — профессора Чандигархского университета Бхуван Шандель во время упомянутого визита. Сева даже сопровождал их в поездке по Грузии. Конечно же, они много беседовали, и его знания индийской культуры в целом и философии в частности произвели на индийских коллег столь сильное впечатление, что они стали называть его не иначе как Bhagavadgita Man. Могу с уверенностью сказать: тот факт, что среди сотрудников Института философии был такой человек, как Всеволод Сергеевич Семенцов, поднял авторитет нашей философской индологии в глазах индийских ученых.

В сентябре 1984 г. мы организовали в Бурятии 1-й советско-монгольский круглый стол по буддизму, впервые собравший вместе практически всех, кто в Союзе занимался буддизмом. Сева принимал в его подготовке и проведении самое активное участие. Добрые воспоминания о пребывании в Бурятии и об упомянутом, по тем временам крупном и значимом, академическом форуме для меня лично были омрачены странным поведением Севы, которое посеяло во мне предчувствие чего-то неблагоприятного.

Это случилось во время поездки на Байкал, которая, по замыслу принимавшей стороны, должна была стать радостным завершением

советско-монгольской встречи. Погода не располагала к купанию (на него решились лишь единицы), и тем не менее все наслаждались красотой озера и его окрестностей. В то время как смельчаки плавали, а остальные наблюдали за ними, Сева лежал на песке в небольшом отдалении и, как нам казалось, спал. Я тогда удивилась, как он может лежать, да еще так долго, на довольно холодном песке? В душе даже позавидовала здоровью «русского молодца», каким он был в моих глазах. Подумалось: вот уж поистине русский богатырь, которому ничто не может помешать в его тяге к родной земле!

Во второй половине того же дня был устроен банкет с вкушением прославленного байкальского омуля. Когда наступило время возвращения в Улан-Удэ, выяснилось, что Семенцова нет с нами. Стали искать и нашли лежащим на сене, издающим какие-то странные звуки, на чердаке близлежащего дачного домика. Андрей Сухов тогда сказал мне: «Перепил твой хваленый Семенцов!» Я же подумала: нет, здесь кроется что-то неладное. Но спросить Севу не решилась.

Интуиция меня не обманула. Странное поведение Севы было связано с приступами нестерпимой боли, причины которых ему не были понятны и о которых он умалчивал, видимо не желая омрачать праздничного настроения окружающих.

Позже, уже в Москве, он признался мне, что его мучают приступы боли. То было проявление страшной болезни.

Спустя некоторое время Сева лег в клинику имени Бурденко на обследование и лечение. Он был «ходячим» пациентом, внешний вид которого ничем еще не выдавал зловещей болезни. Палата была рассчитана на одного человека, что было, конечно, своего рода привилегией. И все же узкая комната показалась мне слишком стесняющей этого высокого широкоплечего человека. Вообще, видеть Севу в столь замкнутом пространстве было как-то неестественно.

Во время моего посещения мы беседовали в основном о делах (главным образом для того, чтобы отвлечься от тревожных мыслей по поводу болезни и возможных ее последствий). Севу беспокоило то обстоятельство, что он не сумел до сих пор сделать обещанного — написать вступительную статью к антологии «Индийская философия», которую мы планировали подготовить для публикации в издательстве «Мысль» в серии «Философское наследие». Он передал мне несколько листов с черновым наброском текста. Полагаю, что в его болезненном состоянии и для этого потребовались неимоверные усилия. Во время встречи он упомянул имя Владимира Шохина, который, как он сказал, мог бы в случае необходимости выполнить поставленную задачу. Я, конечно, уверяла, что дождусь его полного выздоровления.

Последний раз я видела Севу незадолго до трагического конца. Он лежал в маленькой комнатке своей неимоверно малогабаритной двухкомнатной квартирке. По правую сторону — постель, налево — открытые книжные стеллажи, заполненные богатейшей библиотекой, которую он с такой любовью собирал всю жизнь. У изголовья — самые дорогие для него православные книги, в ногах (чуть повыше, на полочке) — незамысловатый магнитофон, наполнявший комнату музыкой Баха. Он исхудал, говорил с трудом, да и я не знала, что сказать в сложившейся обстановке: казалось, любое слово прозвучит как оскорбительная ложь. Сева по большей части тоже молчал. Тем более неожиданным было его предложение: «Мара, если тебя что-то заинтересовало, пожалуйста, возьми книги домой». Мне показалось, что я угадала скрытые за словами истинные мысли Севы, а потому поспешно, даже слишком поспешно и решительно, явно выдавая тем самым собственные чувства, сказала: «Нет, нет, я обязательно возьму у тебя книги, но только после твоего выздоровления».

Видимо, о смерти Севы мне сообщили одной из первых. Когда мы с Наташей Пригариной, спустя несколько часов после свершившегося, приехали к Семенцовым, там были, помимо его мамы Варвары Ивановны, Зебо и детей, только отец Георгий с матушкой. Если память мне не изменяет, в тот вечер к нам никто более не присоединился.

Похороны состоялись на Армянском кладбище, где был захоронен отец Всеволода Сергеевича. Прощание было столь горьким, что и по сей день, спустя два десятка лет, вспоминать о нем нет сил.

Всеволод Сергеевич знал о том, что болезнь его неизлечима. Полагаю, что как глубоко верующему человеку ему покинуть этот мир было легче, чем это могло быть для других. Лично меня он ни о чем никогда не просил. Предполагаю, самым важным для него было благополучие семьи, особенно оставленных малых детей.

Уже когда всем было ясно, что уход Севы неотвратим, в институт пришла Зебо. Она рассказала мне печальную, но, к сожалению, типичную для тех времен историю так называемого квартирного вопроса их семьи. Оказывается, они много лет стояли на учете в Управлении делами Академии наук и терпеливо ждали своей очереди на получение квартиры, соответствующей по размерам количеству членов семьи. Осознав неизбежность смертельного исхода, Сева решил на то, что он никогда бы не сделал, будучи в ином состоянии: он написал письмо в адрес очередного съезда КПСС. Он решил на этот отчаянный шаг после того, как узнал, что в Академии наук якобы его дело утеряно и он тем самым более не числится «очередником». Зебо от имени Се-

вы просила институт поддержать их ходатайство о восстановлении в очереди и предоставлении площади.

В то время директором Института философии был академик Георгий Лукич Смирнов. Удалось получить ходатайство за его подписью.

Кажется, менее чем через месяц после кончины Всеволода Сергеевича ко мне домой позвонил инструктор Московского горкома КПСС. Я не помню его имени, но в памяти сохранились подробности разговора. Он сказал, что звонит в связи с письмом, полученным секретариатом съезда. Я не смогла сдержаться рыданий: «Вы слишком поздно звоните. Семенцова уже нет в живых». К моему удивлению, инструктор предложил незамедлительно зайти к нему в горком партии. Состоялась встреча и довольно обстоятельная беседа, во время которой я, в частности, рассказала о том, как недостойно вел себя руководитель Управления делами АН, не пожелавший восстановить в очереди семью Семенцова и признать за своим ведомством вину за утерю дела Всеволода Сергеевича. (Мы с Президентом Академии наук Таджикистана академиком Асимовым специально ездили на прием к управделами.) Либо инструктор оказался человеком порядочным, либо сыграло роль то обстоятельство, что Г.Л. Смирнов стал помощником М.С. Горбачева, но произошло почти невозможное. Было получено заверение, что заселение в первый же выстроенный Академией наук дом не состоится до тех пор, пока в списках на получение в нем жилплощади не будет фамилии Семенцовых. Обещание было сдержано. Горько, что новоселье состоялось без хозяина семьи.

Смерть Всеволода Сергеевича была невосполнимой потерей не только для семьи и ближайших для него людей. Это невосполнимая утрата для науки, лишившейся необыкновенно одаренного человека, творческий потенциал которого только начал реализоваться.